

# КНИГА БЕССТРАШНАЯ

Зал Русской консерватории в Париже 23 октября 1948 года был переполнен. В этот день весь русский Париж чествовал Ивана Алексеевича Бунина по случаю его 78-летия.

После долгих лет войны жизнь во французской столице входила в привычную колею. Газетная реклама зазывала парижан в «синама», к портному или в ресторан, где клиентам сулили «прием, как в старые времена». Возобновилась также прерванная войной традиция авторских вечеров.

И. А. Бунин почти 10 лет не имел возможности выступать перед такой большой аудиторией. Всю войну он провел на юге Франции, в маленьком городке Грасе. А первые годы после войны здоровье не позволяло ему участвовать в подобных мероприятиях. И вот в 1948-м изумленные русские парижане видели старейшего писателя во всем блеске, бодрим, с характерными аристократическими манерами и осанкой, над которыми, казалось, время не имело власти. Жесты его были четкими, голос красивым и твердым, речь яркой и живой. Бунин читал воспоминания. Он уже почти закончил книгу «Воспоминаний» и теперь знакомил собравшихся с некоторыми ее главами.

Надо сказать, что воспоминания Бунина были восприняты аудиторией неоднозначно. Присутствующая там же Н. Н. Берберова позже писала: «Вечер Бунина. Читал свои воспоминания, в которых издается над символическими, изображал (копировал) Бальмонта, Гиппиус, Блока, называл Белого паяцом и пр.»

Через два месяца нью-йоркская газета «Новое Русское Слово» начала печатать «Автобиографические заметки», которые Бунин читал на вечере и которые позже составили первую главу книги «Воспоминания». Некоторые авторитетные издания обладают замечательной особенностью: они как бы оградяют своего автора от какой бы то ни было критики. Но даже самая авторитетная в эмиграции газета «Новое Русское Слово» не смогла обезопасить нобелевского лауреата от шквальной реакции.

Если Н. Н. Берберова свою негласную связь к Бунину никогда не скрывала и вполне откровенно пишет об этом в книге «Кружив мой...», то Ирина Одоевцева, напротив, в конце 40-х была в числе немногих друзей Бунина. В книге «На берегах Сены» она пишет об Иване Алексеевиче достаточно тепло и с любовью. совсем немного, может быть, иронизируя над престарелым мэтром. Но вот тональность, с которой она передает эпизод авторского вечера Бунина, не уступает «Курсиву» Н. Берберовой, с той лишь разницей, что И. Одоевцева пытается анализировать «злые» воспоминания Бунина, соотнося их с индивидуальными особенностями автора. Она пишет:

«Меня, тогда же, его воспоминания очень огорчили. Они и теперь огорчают меня. Не от того, что он несправедлив к тем, кого он так зло высмеивает, а главным образом от того, что он этими воспоминаниями причинил зло не им, а себе, создав ложное представление о себе, изобразив себя — автора этих воспоминаний — желчным, мелочным, злопамятным и чванным. Он в своих воспоминаниях как бы создал не только их, но и свою карикатуру.»

Ведь на самом деле он был совсем не такой. Он был добр, благороден и великодушен и, казалось бы, не мог быть автором этих воспоминаний.

«Человек начинается с горя». Нет, далеко не всегда. Горе чаще унижает человека, уничтожает в нем все лучшее. И — это уже мое личное наблюдение — чем замечательнее, чем талантливей человек, тем легче он поддается горю, унижающему, уничтожающему его.

Средние люди возможно и «начинаются с горя». Но больших людей горе часто приканчивает, добивает.

А сколько горя Бунин видел в последние годы своей жизни!..»

В 1950-м, в Париже, были выпущены в полном объеме знакомые уже многим по отдельным публикациям и по знаменитому авторскому вечеру в Русской консерватории «Воспоминания» И. А. Бунина. И вновь отношение читающей публики было неоднозначным. Некоторые находили, что книга написана «старческой желчью». И лишь немногие, и среди них М. Алданов, при оценке книги учитывали особенности бунинской эстетики, его авторское своеобразие, его характер, менталитет.

М. Алданов по прочтении «Воспоминаний» писал Бунину: «...Впечатление чрезвычайно сильное. Книга бесстрашная — и страшная. Написана она с огромной силой. Люди, ругающие ее, лучше сделали бы, если бы точно указали, что в ней неправда! Я же могу только поставить Вам вопрос: нужно ли говорить всю правду?»

Но М. Алданов мог бы и не ставить свой риторический вопрос, потому что он, как никто, знал, что не в характере Бунина было недоговаривать, «говорить не всю правду». И уж тем более не права И. Одоевцева, когда говорит, что Бунин не мог быть автором «таких воспоминаний». У Бунина не могло быть других воспоминаний.

А «Воспоминания» эти, неоднократно выходившие за рубежом, в России полностью не издавались никогда. В 1988-м, в 6-м томе собрания сочинений И. Бунина первая глава «Воспоминаний» — «Автобиографические заметки» — сокращена вкратце! Другие очерки также претерпели различную степень сокращения, а некоторые отсутствуют вовсе.

«ЛН» впервые в России предлагают вниманию читателей полный текст «Автобиографических заметок». Пусть читатель сам судит о ценности последней книги И. А. Бунина.

Юрий РЯБИНИН.

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот безконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидел в ней картинку, изображавшую как-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, т. е. с зобом, стоявшего под водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне: «встреча в горах с кретином». Крети! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпе вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным и больше ничего. Но крети? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось много иметь не мало и своих собственных встреч с кретином, на вид тоже довольно-таки противными, хотя и без зоба, из коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь страшны и особенно тогда, когда та или иная мера кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь истерическими силами, — ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне, вообще, суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых на веки останутся во всемирной истории, — тех «величайших гениев человечества», что разрушали целые царства, истребляли миллионы человеческих жизней.

Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, а кроме того провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел в нем, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, но мало угостился и на вечер и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.



Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло мое детство, отрочество.

В те годы уже завершалось преславутое дворянское «оскудение», — под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигорев-Атава. После него называли последним из тех, которые «воспевали» погибающая дворянская гнизда, меня, а затем «воспел» погибшую красоту «вишневого сада» Чехов, имевший весьма малое представление о дворянских помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего «вишневого сада». Я Чехова за то очень многое, и истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого Дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, — уж не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя: Симмонов-Пищик. Я рос именно в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых: в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространная, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять таки вопреки Чехову, как раз возле господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях,

Мит. новости - 1993 - 216 (подп) - с. 13

совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что Лопахин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось Лопахину, очевидно, лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услышать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли...» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: «Желтаго в середину... Дуплет в угол...» Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белья массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкаф). Столик мой! О, мое детство, чистота моя! (смеется от радости). Белый, весь белый сад мой!» Дальше, — точно совсем из «Дяди Вани», — истерика Ани: «Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбешишься, мама!» А рядом со всем этим — студент Трофимов, в некотором роде «Буревестник»: «Вперед! — восклицает он. — Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобны фамилии придумывают себе провинциальные актрисы.

Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несурзадного: один известный поэт, — он еще жив и мне не хочется называть его, — рассказывает в своих стихах, что он шел «колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что собирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, оперением седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно беззвучную при перелетах, — со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цветущем»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цветет; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилев изображал их уж совсем плохо: у него в этих поместьях —

Дома косые двухэтажные  
И тут же рига, скотный двор, —  
а сами помещики и того удивительнее, они, оказываются, «гордятся новыми поддевами» и по тиранству, по Домострою не уступают любому старозаветно-

приезжая в Ялту, каждый день в его доме, но иногда гостил в нем по неделям, с М. П. Чеховой был в отношениях почти братских, однако она, теперь глубокая старуха, не посмела даже упомянуть обо мне, трусливо пишет полностью: «Алексей Максимович Горький и Вячеслав Михайлович Молотов», подобострастно говорит: «Вячеслав Михайлович Молотов выразил, очевидно, не только свое, но и всей советской интеллигенции мнение, написав мне в 1936 году: «Домик А. П. Чехова напоминает о славном писателе нашей страны, и надо, чтобы многие побывали в нем. Почитатель Чехова В. Молотов». Какая мудрая и благосклонная слова!

«Художественный театр имени Горького». Да что! Это капля в море. Вся Россия, переименованная в СССР, покорно согласилась на самую наглую и идиотскую оскорбления русской исторической жизни: город Великого Петра дали Ленину, древний Нижний Новгород превратился в Город Горький, древняя столица Тверского Удельного Княжества, Тверь, — в Калинин, в город какого-то ничтожнейшего типологического наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, в Калининград, и даже вся русская эмиграция отнеслась к этому с полным равнодушием, не придавая этому ровно никакого значения, — как, например, тому, что какой-то кудрявый пьяница, очаровавший ее писарской сердечилательной лирикой «под гармонь, под тальянку», о котором очень верно сказал Блок: «У Есенина талант пошлости и кощунства», в свое время обещал переименовать Россию Китежа в какую-то «Инонию», орал, раздирая гармонию:

Ненавижу дышанье Китежа!  
Обещаю вам Инонию!  
Богу выщиплю бороду!  
Молюсь ему матерщиною!

Я не чета каким-то там болванам,  
Пускай бываю иногда я пьяным,  
Зато в глазах моих прозрений дивных свет —  
Я вижу все и ясно понимаю.  
Что эра новая не фунт изюму вам.  
Что имя Ленина шумит, как ветер, по краю!

За что русская эмиграция все ему простила? Зато, видите ли, что он разудалая русская головушка, за то, что он то и дело приторно рыдал, оплакивал свою горькую судьбу, хотя последнее уж куда не ново, ибо какой «мальченка», отправляемый из одесского порта на Сахалин, тоже не оплакивал себя с величайшим самовосхищением?

Я мать свою зарезал,  
Отца сваю убил,  
А младшую сестренку  
Невинности лишил...  
Простила и за то, что он — самородок, хотя уж так много было подобных русских самородков, что Дон Аминадо когда-то писал:  
Осточертели эти самые самородки  
От сохи, от земли, от земледелия,  
Довольно этой косоворотки и водки  
И стихов с похмелия!  
В сущности, не так уж много

# Иван БУНИН АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом».

Дополняя их некоторыми новыми.

(Курсив всюду мой; делаю выписки из стихов и прозы с новой орфографией, я даю их по старой).

Требуется, чтобы стать поэтами:  
Запустить в Господа Бога  
Тяжелыми предметами,  
Расшвырять, сообразно со вкусами,  
Письменные принадлежности,  
Тряхнуть кудрями русыми  
И зарыдать от нежности...

Первые шаги Есенина на поэтическом поприще известны, поэт Г. В. Адамович, его современник, лично знавший его, рассказал о них наиболее точно: «Появился Есенин в Петербурге во время первой мировой войны и принят был в писательской среде с насмешливым удивлением. Валенки, голубая шелковая рубашка с пояском, желтые волосы в скобку, глаза долу, скромные вздохи: «Где уж нам, деревенщина!» А за этим маскарадом — неистовый карьеризм, ненавистное самолюбие и спаволобие, ежeminутно готовое прорваться в дерзость. Сологуб отозвался о нем так, что и повторить в печати невозможно, Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами, Гиппиус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила: «Что это на вас за гетры такие?» Все это заставило Есенина перебраться в Москву и там он быстро стал популярным, примкнув к «имажинистам». Потом начались его скандалы, дебоши, «Господи отелись», приступы мании величия, Айседора Дункан, турне с ней по Европе и Америке, неистовая избивания ея, возвращение в Россию, новая женитьба, новые скандалы, пьянство — и самоубийство...»

(Продолжение следует)

Страница 13

01.93